



## Примечания

- 1 Комментарий // Гоголь Н. Полн. собр. соч. и писем : в 23 т. Т. 3. М., 2009. С. 560.
- 2 См.: Гоголь Н. Арабески. СПб., 2009.
- 3 Гиппиус В. Гоголь // Гиппиус В. Гоголь. Зеньковский В. Н. В. Гоголь. СПб., 1994. С. 63.
- 4 Гоголь Н. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 157.
- 5 Там же. С. 27.
- 6 Там же. С. 258.
- 7 Там же. С. 270.
- 8 Там же. С. 178–179.
- 9 Ямпольский М. Наблюдатель : очерки истории видения. М., 2000. С. 37, 93.
- 10 Вайскопф М. Время и вечность в поэтике Гоголя //

- Вайскопф М. Птица тройка и колесница души : работы 1978–2003 годов. М., 2003. С. 247.
- 11 Гоголь Н. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 26.
- 12 Там же. С. 25.
- 13 Там же. С. 262.
- 14 Ямпольский М. Указ. соч. С. 93.
- 15 Гоголь Н. Полн. собр. соч. и писем. Т. 3. С. 27, 28–29.
- 16 Там же. С. 82–83, 84.
- 17 Там же. С. 180.
- 18 Там же. С. 162.
- 19 Волоконская Т. Проблема хронологии в исторических фрагментах сборника Н. В. Гоголя «Арабески» // Изменяющийся мир : общество, государство, личность : сб. материалов IV Междунар. науч. конф. (Саратов, 9 апреля 2015 г.). Ч. 3 (разд. 17–24). Саратов, 2015. С. 306.

УДК 821.161.109-43+070(470)|1912/1914|+929Пришвин

## ЖУРНАЛ «ЗАВЕТЫ»: РЕЦЕПЦИЯ ПЕРВОЙ БАЛКАНСКОЙ ВОЙНЫ В ОЧЕРКАХ М. ПРИШВИНА 1912 ГОДА

Н. В. Новикова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского  
E-mail: novikovanv@mail.ru

В статье фрагментарно републикуются пришевские очерки из журнала «Заветы», содержащие рецепцию Первой Балканской войны (1912). Они художественно-публицистически воспроизводят обсуждение различными слоями российского общества «славянского вопроса», актуализированного войной. Современность геополитического звучания пришевских образов и оценок очевидна.

**Ключевые слова:** журнал «Заветы» (1912–1914), М. Пришвин, публицистика, отдел «По градам и весям», Балканская война, «славянский вопрос».

### Journal *Zavety* (Testaments): the Reception of the First Balkan War in M. Prishvin's Sketches of 1912

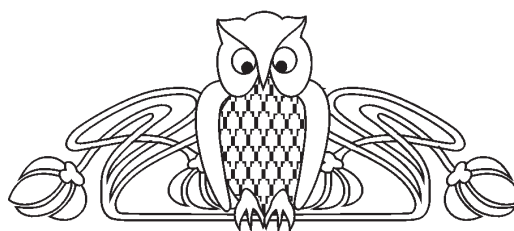
N. V. Novikova

M. Prishvin's sketches from the journal *Zavety* (Testaments) are re-published in fragments containing the reception of the First Balkan war (1912). They in a resourceful and journalistic manner re-create the discussion of the «Slavic issue» actualized by the war in different spheres of the Russian society. It is evident that Prishvin's images and evaluations sound geopolitically up-to-date.

**Key words:** journal *Zavety* (Testaments) (1912–1914), M. Prishvin, journalism, column «Through towns and villages», Balkan war, «Slavic issue».

DOI: 10.18500/1817-7115-2016-16-3-278-286

Издание журнала «Заветы» как периодического печатного органа эсеровской партии, переживающей кризис после предательства Азефа,



иницируется недавним идеологом партийцев Виктором Черновым. С апреля 1912 по июль 1914 г. ежемесячник оперативно откликается не только на события общественно-политической и культурной жизни России, но и пристрастно наблюдает за процессами, происходящими в Европе, точнее – на Балканах: за локальностью и удалённостью в них угадывается грозящая Отечеству опасность. Именно так расценивается вспыхнувший там на исходе первого десятилетия XX в. конфликт державных интересов, переросший в Первую Балканскую войну, следующая волна которой превратилась во Вторую Балканскую войну и предопределила цунами Первой мировой.

По горячим следам, в ноябрьском номере журнала за 1912 г., назревшей проблеме посвящается цикл очерков М. Пришвина<sup>1</sup>. Они открывают его персональный отдел «По градам и весям», который с первых страниц обретает свой голос. Вслед за этим помещается уже восьмой выпуск отдела С. Мстиславского «Своё и чужое (Русская жизнь)» с красноречивым названием очерка: «Чужая война»<sup>2</sup>. В той же книге, в отделе «Текущая жизнь» под рубрикой «За границей» публикуются «Письма с Балкан» Ст. Вольского<sup>3</sup>, а вслед за ними – очерк Л. Василевского, посвящённый политической ситуации в Венгрии<sup>4</sup>. В одном из очерков пришевского отдела декабрьской подборки – «Наши позиции»<sup>5</sup> – продолжение разговора об отношении к происходящему в «горячих точках». Во втором томе «Заветов» за 1913 г. – ещё одно «Письмо с Балкан»<sup>6</sup>. Как видим, балканская ситуация освещается в журнале сразу несколькими авторами, в соседствующих отделах, в разных



жанрах – плотно, нацеленно, публицистически явственно. Пафос очерков, индивидуально-творческие оттенки решения тревожащей всех проблемы, «заветовская» позиция по балканскому вопросу заслуживают пристального внимания, тем более с учётом современных геополитических реалий.

Отмечая целый ряд «заветовских» материалов, объединённых доныне актуальной темой, остановимся на восприятии и осмыслении её М. Пришвиным. Для более явственного понимания пришвинской трактовки событий воспроизведём их историческую последовательность.

Как известно, происходящее на Балканах оказывало «существенное влияние на внешнеполитическую ориентацию России»<sup>7</sup>. В 1908–1909 гг. развивается Боснийский кризис, вызванный решением Австро-Венгрии аннексировать оккупированные ею с 1878 г. турецкие провинции Боснию и Герцеговину, населённые славянами. Это препятствует Сербии объединению под своей короной всех южнославянских земель Балкан, в том числе и тех, которые со Средних веков входили в состав Австрии и Венгрии, – Словению и Хорватию. Планы создания славянского государства на Балканах одобряются российской общественностью (правительству в условиях думской монархии приходится с этим считаться): стремление поддерживается в надежде создать противовес австрийскому влиянию в регионе. Если Австро-Венгрия стремилась подчинить себе балканские государства, то Россия, «менее других стран нуждавшаяся в новом жизненном пространстве, тем не менее решила в общей европейской суматохе значительно улучшить своё стратегическое положение: стать хозяйкой проливов и Константинополя и единственной покровительницей Балкан. <...> Эти цели вытекали из единого замысла стран Антанты – остановить германскую экспансию в Европе»<sup>8</sup>.

Весной 1912 г. происходит оформление Балканского союза в составе Болгарии, Греции, Сербии и Черногории. Но оказывается, что, вопреки расчётам Петербурга, переоценившего степень своего влияния на балканские государства, «острие Балканского союза поворачивается не в сторону Австро-Венгрии, а против Турции»<sup>9</sup>: члены союза исходят из собственных интересов (отвечают на резню албанцев и македонцев). Попытки России и других государств предотвратить конфликт успехом не увенчиваются: 27 сентября (9 октября) 1912 г. разражается Первая Балканская война, в результате которой Турция терпит поражение, а для России возникает угроза столкновения с Австро-Венгрией из-за её военных приготовлений против Сербии. Однако австро-сербский конфликт, чреватый европейской войной, удаётся предотвратить. Тем временем «делёж османского наследства вызывает раскол среди союзников. Россия пытается не допустить братоубийственного столкновения славян, но терпит в этом

неудачу»<sup>10</sup>. В начале 1913 г. вспыхивает Вторая Балканская война, на этот раз – между Болгарией и остальными участниками недавнего союза, к которым присоединяются Турция и Румыния.

Развитие и исход разрушительных процессов хорошо известны. Дестабилизация в регионе обусловливается ещё и усилением освободительного движения славян в самой Австро-Венгрии: «... чехи, словенцы, хорваты, сербы, словаки, украинцы, православные румыны с надеждой смотрят на Россию как на главную силу в деле их освобождения от немецко-венгерского господства»<sup>11</sup>. В этой обстановке достаточно было малейшей искры, чтобы зажечь на Балканах не локальный, а общеевропейский пожар. Именно отсюда исходит главная угроза европейскому миру: всё более непримиримый характер приобретают противоречия между Австро-Венгрией и балканскими государствами, особенно Сербией. В Белграде мечтают о «Великой Сербии», которая объединила бы славянские народы, находящиеся под австрийской пятой. В Вене рассматривают это как угрозу самому существованию Двудеиной империи и ищут повод расправиться с сербским государством. До выстрела Г. Принципа остаётся совсем немного времени, а через месяц после него, в июле 1914-го, в ответ на обнародование германского ультиматума, по России прокатится волна солидарности с сербами – молебны, крестные ходы, митинги, манифестации с транспарантами: «Да здравствует Россия – сестра Сербии!», «Долой Австрию, да здравствуют Россия и Сербия!»<sup>12</sup>, усилятся антигерманские настроения, для выражения патриотических чувств понадобятся всего три слова: «За Веру, Царя и Отечество!»

Оглядываясь назад, можно сказать, что накануне общеевропейской бойни к углублению раскола Европы на две противоборствующие коалиции держав влекла цепь международных кризисов, переместившихся на Балканский полуостров. Он стал поистине «пороховым погребом»<sup>13</sup> континента, заставляя Россию пребывать в постоянной тревоге от неизбежности быть втянутой в войну против собственной воли. «Россия не могла уклониться от дерзкого вызова своих врагов, она не могла отказаться от лучших заветов своей истории, она не могла перестать быть Великой Россией»<sup>14</sup>, – эти слова министра иностранных дел С. Сазонова, произнесённые на заседании Государственной политики в отношении славянских народов балканских стран в предшествующие поворотному событию годы. Бросить Сербию на растерзание Австрии нельзя было не только из солидарности со «славянскими братьями», но и потому, что очередная уступка агрессивному государству, находящемуся под покровительством Германии, «нанесла бы непоправимый ущерб международным позициям»<sup>15</sup> нашей страны.

Как выглядит под пером М. Пришвина, к тому времени уже приобретшего известность путеше-



ми очерками (о русском Севере, Скандинавии, Туркменистане), казалось бы, отстоящая от его заветных интересов политическая современность? Какие слова и краски, какие образы он находит, какие приёмы и способы письма использует, чтобы её осветить? Каковы авторская интонация, авторское отношение к происходящему за «градаами и весями» Родины? Заметим, что очерки, которые по праву можно считать основополагающими для всего отдела, никогда не перепечатывались, наше обращение к этим произведениям – фактически их републикация.

Злободневный мотив начинает динамично звучать с первого очерка, названного «Штыковой удар»<sup>16</sup>. Перед читателем – купе поезда, движущегося в столицу «из глухих, полудиких мест, среди которых лежит Петербург» (С. 73). Попутчиками рассказчика оказываются два молодых офицера, они «только что познакомились и жалуются друг другу на своих полковых командиров» (С. 73). Путешествующий литератор – «ввиду возможности большой войны» – «с особенным интересом» слушает «разговор военных людей» и через некоторое время вступает в диалог с вопросом: «Как теперь живётся солдатам?» (С. 73). Вопрос этот – из самых насущных: перед лицом опасности интерес к состоянию защитников Отечества, на плечи которых ляжет основная тяжесть ратного труда, закономерен.

Судя по ответу, в армии полным ходом идут преобразования, необходимость которых была востребована поражением в русско-японской войне: «Солдатам отлично: на простынях спят! У каждого своя койка, а щи такие, что и вам дать, так облизнётесь» (С. 73). Одним словом, «разврат, чистый разврат!» – и заключается он в том, что «не хотят к земле возвращаться, один служить остаётся, другой просит место городского, третий дворника, только бы не домой» (С. 73). Рассказчик, для которого непредставимо, «чтобы крестьянин соблазнился солдатчиной», резюмирует: «Офицеры и не думают в этот момент, какой иронией звучат их слова над всей огромной земледельческой страной: простыня и щи так развращают земледельца, что из-за этого он не хочет возвращаться к сохе» (С. 73). По словам офицеров, внутривойсковой «прогресс» простирается уже до того, что ставка делается на «сознательных» солдат: «...раньше солдат обучали, как массу, нынче обращают внимание на солдатскую индивидуальность, солдат теперь на войну не должен идти, как баран, а как личность» (С. 73).

Однако, по мнению офицеров, этот «прогресс» имеет оборотную сторону: «сознательность вредно отзывается на штыковом ударе»; «рост личности в солдате» становится «причиной ослабления» удара (С. 74). Для наглядности и убедительности офицеры ссылаются «на охотничий пример»: «Человек, стреляющий бекаса “навскидку”, попадает в цель бессознательно; если он в этот момент что-нибудь подумает – пропало дело!

Вот так же и солдат во время штыковой атаки не должен быть сознательным; если он подумает, как ему действовать одному, за себя, то – пропало дело! Как на охоте, так и на войне: в решительное мгновение штыкового удара нужно забыть себя, а “сознательному” труднее забыть себя, чем бессознательному» (С. 74).

Писатель, «по привычке видеть в “сознательности” полезное начало для всяких дел человеческих», начинает возражать офицерам: с его точки зрения, «время штыкового удара как бессознательно-массового явления должно исчезнуть», «во всех операциях» – «война теперь ведётся по телефону, стрельба совершается по невидимой цели» – «требуется “сознательность”, и потому в настоящее время побеждает “школьный учитель”» (С. 74). Однако «офицеры решительно останавливают нить» его «дальнейших рассуждений», настаивая на том, что, несмотря на техническое перевооружение армии, команда «В штыки!» будет раздаваться: «...рано или поздно пушки бывают подбиты, открывается ружейный огонь», и чем ближе сходятся армии, «тем число поражений становится меньше, солдаты перестают попадать в цель. <...> Конец, самый конец решает штыковой удар, и от него в итоге зависит исход войны, а не от “школьного учителя”» (С. 74). Доказывая верность своего наблюдения, что “сознательность” вредно действует на штыковой удар», офицеры посвящают ему слова патетического звучания: «Штыковой удар есть согласие и равенство частей, штыковой удар – любовь, чувство родины, связь... Штыковой удар, а не холодный расчёт делает войну *священной!*» (С. 74. Здесь и далее курсив автора. – Н. Н.).

Следовательно, «сознательности» как разумности, осмысленности существования, рациональности мышления, целесообразности поведения, от которых зависит выверенность движений, противопоставляется подсознательное, безотчётное, инстинктивное, т. е. коренное, сходящееся со всеми в вершинные моменты испытаний. Очевидно, что писатель под «сознательностью» подразумевает нечто иное – «когда каждый будет сознавать себя отдельностью» (С. 75). Сознательностью он считает, в первую очередь, передовое, прогрессивное мышление, сознательным человеком признаётся состоявшаяся личность. Но блестящее предположение («Может быть, эта сознательность и уничтожит войну») тоже не получает одобрения офицеров: «А что же в этом хорошего, <...> какая в этом радость, что каждый будет жить за себя? Нет, нужно, чтобы в известный момент все и высоко развитые личности носили в себе что-то общее святое со всем народом и могли нанести врагу <...> решительный штыковой удар. А сознательность вредно действует...» (С. 75).

Зная о настроениях в армии не понаслышке, офицеры рассуждают о первостепенно важном – о духе армии. В достижении победы они полагаются не столько на грамотность, цивилизованность



ведения боевых действий, сколько на иррациональное – на чувства долга и любви к родине. Подъём, взлёт этих чувств происходит, по крайней мере – как показывает история – у русского солдата, когда он оказывается глаза в глаза с врагом<sup>17</sup>. А «сознательным» солдатам, приученным вдумчиво относиться к ратному труду, в момент наивысшего напряжения может не хватить внутренних сил. Победа куётся не только силой оружия, но и силой духа, способностью безоглядно броситься в схватку «за други своя» и за Отчизну. И пример такого героизма офицеры видят в славянах, сражающихся с турками и сумевших нанести им «решительный штыковой удар»<sup>18</sup>.

В финале первого очерка заглавному образу придаётся метафорически возвышенный смысл, означающий обретение свободы ценой самопожертвования. Второй очерк – «В греческом погребке»<sup>19</sup> – являет этот образ в его ужасающей конкретике. Обыденное посещение «греческой лавочки» и общение с «теми самыми греками, что теперь воюют, с теми, от которых мы получили православие» (С. 75), вскрывает болезненно острые проблемы межгосударственных, межнациональных, межконфессиональных отношений. Очеркист проявляет к ним, по его собственным словам, «чересчур уж большой интерес» и свидетельствует: грекам как «православным христианам» турок «не жалко» (С. 75). Они «воинственно» приговаривают: «Так их и надо! так их и надо!», потому что «турки животы раскрывают беременным женщинам, руки обрубают, носы отрезают, жарят... Они – звери» (С. 75).

В памяти автора оживают картины «турецкого зверства», при разговоре о котором он присутствовал в «самом раннем детстве»: «как турки женщинам животы разрезают, как в рот льют расплавленный свинец и подхватывают маленьких детей на штыки и, кидая на камни младенцев, разбивают им головы» (С. 76). Тогда турки представлялись ему «где-то в преисподней <...> в красном, страшные, как черти...» (С. 76). И, слушая рассказы «греческих купцов» о том, как «турки наливают в рот христианам бензин и зажигают», журналист чувствует, что «красное слово “зверство” от прибавления “турецкое” как-то ещё краснеет, а если постоянно тут же повторять голубые слова: христианство, христиане, христианки, то и получится то самое восприятие моё в трёхлетнем возрасте ужасов ада» (С. 76). Психологически оправданно звучит признание: «Так вот ещё где коренится моё отношение к туркам!» (С. 76). И сейчас он мотивирует своё отношение к ним, на первый взгляд, по-прежнему: «Турки – звери: они женщинам животы вспарывают и младенцев разбивают о камни» (С. 76).

В пространстве полоторастраничного очерка это натуралистически дикое зрелище предстаёт перед читателем трижды. Столько же раз повторяется его антипод, картина совершенно иного колорита: «В каком-то неведомом граде, в чудес-

ном доме, похожем на дворец, мы, дети, сидим за столом вместе с большими и делаем общее дело, одинаково важное и занятое как для больших, так и для детей: щиплем корпию» (С. 75–76); «в чудесном дворце мы делаем какое-то прекрасное дело для братьев-славян»; «в чудесном дворце в неведомом граде мы щипали корпию братьям-славянам» (С. 76). Аду беспредельного насилия противопоставляется христиански возвышенное «общее дело», «прекрасное» тем, что объединяло всех в помощи «братьям», нуждавшимся в защите.

Но столь весомое, исторически убедительное объяснение того, почему автор «на стороне славян», наталкивается на «равнодушие к войне» «русских купцов в провинциальном трактире» (С. 76). И как опровергнуть их резонные доводы: «А у нас не разбивают? <...> Что нам о турках говорить: у нас свои турки. Ведь это как смотреть вообще, а уколоть-то всегда найдётся чем. Вот у нас гвозди в затылок евреям забивали, разве это не турки?» (С. 76). Можно ли закрывать глаза на разгул черносотенной жестокости? Куда девалось бывшее единение в благом деле спасения «братьев» от изуверств инаковерцев? Будет ли беспримесной радость от того, что «скоро теперь осыплется со стен св<ятой> Софии турецкий сурик и проглянут лики наших святых» (С. 76)?

Вне всякого сомнения, публицист в начавшейся войне испытывает подъём чувства кровной связи со славянскими народами. Истоки этого состояния, как мы видим, – в братской солидарности с ними, которая была прочувствована ещё ангельски чистой детской душой. Греки же сосредоточены на ожидании возмездия неверным, осквернившим православные святыни: «Вот теперь наступает время расплаты, и скоро Константинополь будет наш» (С. 76). Разнонаправленные устремления «православных» очевидны, что экспрессивно подчёркивается автором: «И до того, до того эти греческие чувства были не похожи на наши русские!» (С. 76). Он идёт дальше, допуская, что, «вероятно, и вообще греческое православие теперь иное, чем русское народное» (С. 77). Однако в причастности к одной вере автор не замечает различий между собой и купцами, которые перед встречей с «воинственными» греками вызвали его досаду тем, что оказались «совершенно равнодушны к войне» (С. 75). Их приземлённо-трезвое понимание происходящего действительно контрастирует с патриотической эйфорией очеркиста, но оно тоже имеет основания, и сбрасывать их со счетов неправомерно.

Автор «на стороне славян», и этот выбор предсказуем. В то же время он руководствуется таким критерием нравственно-этического порядка, который побуждает противиться неоправданной жестокости и со стороны соплеменников (не случайно он спрашивает греков прежде всего о жалости к туркам, «теперь» вырезаемым). Равнодушие купцов к войне проистекает из осознания обоюдного «зверства»: увы, «православные христиане»,



как показывает не только житейская практика, на него тоже способны. Поэтому, вслед за «нашими обыкновенными купцами», рассказчику трудно «поверить» в приверженность греков христианскому абсолюту, который якобы наполняет рождённую ими «формулу»: «Константинополь будет наш!» (С. 77). «Для нас» она, по его ироническому замечанию, даже не славянофильски во многом «умозрительная» (т. е. отвлечённая, абстрактная), а «уж прямо геометрия» (С. 77) (иначе говоря – целая наука, которая в данном случае должна быть направлена на осмысление пространственных отношений и свойств священного для христиан места, опирающаяся на систему аксиом, главная из которых – изначальная его святость). «Для них (греков. – Н. Н.), – подытоживается рассказ о трёх «православных» точках зрения на один и тот же вопрос о личинах войны, – Царьград, может быть, и действительно святой город, а для нас он свят лишь в том смысле, как и Синод называется Святейшим» (С. 77). Автор не усматривает в сакраментальной «формуле» аксиоматического содержания, тем более что тень на репутацию хранителей святынь уже брошена ими же самими; доказательства их гуманистической природы, напротив, отсутствуют.

Заключительная мысль очерка, звучащая вызовом по отношению к институту Церкви и резко полемически по отношению к идеологам славянофильства, будет востребована в следующей части – «Рыцари без лат»<sup>20</sup>. От очерка к очерку перебрасываются мостики, связывая их в единое целое, создавая эффект объёмного пространственно-временного полотна. Автор как будто «только что побывал в Византии», а на Невском застал «блестящих медных всадников на вороных конях» – двигавшийся «церемониальным маршем под музыку отряд кирасиров, рыцарей в совершенно таких же латах, какие мы видим теперь в средневековых музеях» (С. 77). Перед ним уже не в воображении, а наяву оживает ещё одна эпоха. «Музейные рыцари», движущиеся «среди живых разнообразных людей», – это действительно «контрастно, необычайно» (С. 77). Но, в отличие от восторженно восклицательной «толпы», рассказчик чувствует себя натянуто: ему «чуть-чуть страшно», «чуть-чуть жутко», как в «рыцарской комнате» музея, когда «вокруг себя видишь с ног до головы вооружённых людей» (С. 77). И это ощущение не отменяется ни театрализованностью шествия, ни сравнением участников процессии со статичными музейными экспонатами. Даже в таком маскарадном обличье «вооружённые люди» ассоциируются им с угрозой, актуализируют мотив тревоги, пронизывающий первые два очерка.

Однако ожившее пышное средневековье тут же оказывается лишённым живого начала, оборачивается то ли фикцией, то ли фарсом: офицер «был так равнодушен к торжеству, <...> так механически выполнял своё дело, что и медные рыцари за его спиной казались механическими, с

пустой серединой, как страшные латы в музеях...» (С. 77). Фотографическое зрение очеркиста, его эмоциональная память, оригинальное образное мышление, журналистская ставка на фактурную деталь позволяют ему находить оптимально точные, индивидуально окрашенные характеристики явлений, на первый взгляд, далеко отстоящих от увиденных. Так, эти «рыцари», кого-то завораживающие, кого-то утрашающие, а на поверку «механические», буквально являющие собой форму без соответствующего ей содержания, вовсе не случайно «вспомнятся» автору через несколько дней, когда он отправится «в общество славянской взаимности» (С. 77). «Я думал, – признаётся тот, интригуя читателя, – что увижу там подобных музейных рыцарей... латы с пустою серединой, но оказалось не то...» (С. 77). Уличная картинка, с её ретроспекцией и проекцией, – эпиграф, заставка, фон описания этого общества и, пожалуй, смысловая квинтэссенция последующего высказывания, которое отразит нечто новое в известном: «Я глубоко ошибался» (С. 77).

Отправной точкой «крестового похода» против антиславянских сил, свидетелем которого оказывается журналист, становится возглас «какого-то седого профессора»: «Что такое национализм?» (С. 77). По впечатлению наблюдателя, он ораторствовал, «словно снизу от живота подгоняемый какой-то радостной волной» (С. 77). Будучи приверженцем идеологии, чреватой серьёзными политическими последствиями, профессор «разливался» так, что в подтверждение её жизнеспособности нашёл сравнение: «Взять хотя бы табун лошадей, <...> как этот табун на волка идёт, вот так же идут и люди, объединённые национальным чувством, на врага» (С. 77–78). Для автора это сравнение «чуть-чуть неудобно»: «... табун лошадей и мы, христиане, и ещё православные...» (С. 78). Но докладчик «быстро поправился»: «Оттого мы и православные христиане, что славяне», – «и так перекинул мостик от православия к табуну, и стало так, что не от себя, а как бы от Бога табун на волка идёт. Вот что значит национализм!» (С. 78).

Журналисту бросаются в глаза ходульность идеи национальной избранности, подкреплённая к тому же религиозной идеей, и небезопасность этой силы в сложившихся обстоятельствах. По его мнению, придание нации статуса высшей формы общности не выдерживает критики: «доказательства святости табуна», «как ни остроумен был профессор, всё-таки не выходили» (С. 78). Пытаясь, образно говоря, «надеть крестики на диких коней», профессор «во что бы то ни стало хотел доказать смысл войны» (С. 78). В этом месте его искусственных, декоративно-надуманных построений автору «и вспомнились пустые рыцари в латах» – персонажи с выхолощенными родовыми качествами: благородством в поступках, великодушием, верностью долгу, самоотверженностью. В связи с этим не могли не вспомниться и герои



первого очерка – офицеры, рыцарство которых не ставится под сомнение. Ими – в отличие от профессора – «оправдание войны переносилось в область бессознательного», и их слова «о бессознательном штыковом ударе выходили доказательными» (С. 78). Авторские симпатии к ним очевидны.

Перекрытый обзор позволяет раскрыть характерные приметы одного из типажей «общества славянской взаимности». Но наряду с «пустыми рыцарями» там, как выясняется, представлены и «не пустые» (С. 78), причём дифференцированно. Первым – и единственно настоящим – «генерал, почтенный, деловитый», который «доказывал обществу, что ни Константинополь, ни кишка (т. е. «система проливов Босфор – Дарданеллы»). – Н. Н.) совершенно не нужны России» (С. 78). Приводя объективно значимые доводы, он заметил: «Нам нужны единственно только два пункта при входе в Босфор для того, чтобы сосредоточить здесь оборону Чёрного моря» (С. 78).

Такой взвешенный подход получил незамедлительный отпор со стороны «известного всему Петербургу седого славянофила в синей поддёвке» (С. 78). По свидетельству очеркиста, «он возмутился тем, что генерал пренебрёг историческими заветами русского народа освободить св<ятую> Софию от турецкого ига, уверял всех, что болгары “поклонятся” нам Царьградом, и от этого подарка неужели же нам отказаться!» (С. 78). Справедливости ради следует сказать, что эти затверженные мечтания были встречены не только одобрительно, но и скептически, однако дискуссии не случилось: последнее слово оказалось за «одним из важнейших членов», который «тут же назвал мечту о Царьграде устаревшей, не стоящей такой длинной беседы» (С. 79). «Не мечта нам нужна, а дело, – воскликнул он» (С. 79), имея в виду ту самую систему проливов, покушаться на которую генерал считал стратегически обосновательным.

«Так некогда красивая и большая мечта славянофилов о Царьграде и св<ятой> Софии в нынешнем славянском обществе превратилась в мечту о “кишке”», – с грустной иронией констатирует автор, наблюдая «дружные аплодисменты», охвативший «всё общество» «необычайный энтузиазм» (С. 79). Одерживает верх та самая идея великодержавного превосходства в политической и военной сферах и, по всей видимости, обещаемая им коммерческая выгода. И это при том, что генерал как человек военный «смысла войны» (С. 79) не видит. Мнимое – в глазах собравшихся – отсутствие патриотизма с лихвой компенсируются профессором и славянофилом: каждый по-своему в правомерности войны убеждён. Скорее всего, последнее и предполагалось журналистом на заседании пресловутого общества (генерал для него – исключение): расцветившие демагогические речи в пользу военного вмешательства одних и реанимация славянофильской архаики другими. Но единоличный голос высокопоставленного лица

вносит в сценарий коррективы, которые вскрывают новые грани текущего процесса: «Я думал, что встречу <...> блестящие музейные латы с пустым содержанием, а встретил совсем-таки полных рыцарей, только без лат. И кричали эти рыцари неоднократно “ура”, и, казалось, вот-вот они начнут мировую войну...» (С. 79).

Судя по всему, эти «полные рыцари» наверняка не задумываются о чувствах, вкладываемых в «штыковой удар», у них – членов «общества славянской взаимности» – вряд ли есть сердечно мотивированная потребность вступить за «братьев-славян». По большому счёту, их не занимают высокие материи, а занимает то, что происходит в высоких кабинетах, где на столах – карта мира. Они освобождают себя от соблюдения хотя бы видимости общеполезных намерений, сохранения притягательности морально-этических устремлений, они не нуждаются во впечатляющем камуфляже. Эти рыцари войны, надо полагать, из разряда тех, кто благодаря ей наживает состояния или наращивает политические капиталы. Если «пустые рыцари» – внешнее подобие настоящих, претензия на подлинность, то «полные рыцари», они же – «рыцари без лат» – явная перелицовка, чистый фальсификат. Образ, обыгрываемый в очерке, в конечном счёте позволяет саркастически показать существо явления.

Пыл поборников войны следует охладить, и для этого ещё находится простейший способ: «пришёл обыкновенный полицейский и закрыл их собрание» (С. 79). Здесь – указание на то, что правительство пока готово дистанцироваться от столь откровенных победительных настроений. Однако затеваемая такими «рыцарями» «мировая война» уже на пороге...

Четвёртый, заключительный очерк подборки, начинается с вопроса о том, «что думает народ о балканской войне». А исчерпывающий ответ на него скрывается в заглавии: «Эпидемия»<sup>21</sup>. Расшифровывается оно последними строками, мостиком переброшенными к первым, создающими смысловую завершённость: замеченные в провинции и в столице настроения автор добросовестно анализирует, обнаруживая их общность, которую иначе и не назовёшь, как «эпидемией, совершенно такой же, как и холерная, но с той разницей, что холера идёт снизу, из народных глубин, а это сверху...» (С. 82). Журналист признаётся, что «очень трудно ответить на этот вопрос» (С. 79), и останавливается на преобладающем ощущении: «Народ скорее всего равнодушен» (С. 79). В Петербурге это расценивается как отсутствие «государственного чувства», справедливость чего по отношению к «простому русскому народу <...> как массе» подтверждается автором ссылкой на не получившие «отклика» в новгородских, например, краях «торжества по случаю столетия *Отечественной войны*» (С. 80). Но стоит обратиться не «к стихии», а «к сознанию» (С. 81) народа, картина меняется: вырисовывается целый



спектр толкований и просматривается объединяющая их линия.

Дело в том, что в журналистской практике автора – общение с «отдельными говорящими представителями неофициальной России», которые собираются «в одном трактире уездного города» и «много толкуют о войне» (С. 81). Это «так называемые “обыватели”, русские бытовые, мещане, несущие в голодной России крест добычания пищи своим семьям, к ним примыкают купцы, подрядчики, крестьяне и немногие рабочие» (С. 81), – получается показательный срез осознанно живущего трудового сословия, каждодневно озабоченного нешуточными проблемами. Автор публицистически укрупняет суть «трактирного» обсуждения причин и следствий войны: «Главное, что можно было уловить в речах» этих людей, «заключалось в полном непризнании, казалось бы, установленного факта, что славянский мужик за себя воюет. Несмотря на все газетные известия, в трактире об этом и слушать не хотят. Не народ воюет, а правительство» (С. 81). Проницательность и дальновидность участников беседы вызывают уважение. «Одним словом, – приязненно комментирует ситуацию её заинтересованный свидетель-журналист, – общественное мнение нашего трактира держится того, что в массе народной, в природе трудящегося семейного человека нет воинственных чувств, и войну делают дурные и корыстные правители» (С. 81).

Нельзя не заметить, что столь зрело рассуждающие «представители неофициальной России», в отличие от облечённых властью, наделены способностью ответственно оценивать вызовы межгосударственной политики: «...их критика простирается до существа воинственного вдохновения, до основ военного воспитания и до учительницы славян, Европы» (С. 81). Далёкие от магистральных направлений европейской жизни, на которых стремится заявить о себе и Россия, доморощенные политики из отечественной глубинки различают их подошлёку и идут вразрез им. По М. Пришвину, в этом и усматривается «яд, или особенная закваска, благодаря которой получается то, что на языке современности называется “отсутствием у русского народа государственного чувства”» (С. 82). Верхи его беззастенчиво профанируют, но уличаются в морально-политическом «невежестве» низы: «...кто же не знает о турецких гонениях на Балканах и действительных страданиях славян под турецким игом, кто не думал, что на Балканах скорее революция, чем война. Но это всё знают очень хорошо и спорящие люди в трактире» (С. 81).

Для автора не секрет, что аналогичные разговоры ведутся не только «в глухих местах», но и в столице. Он прислушивается к тому, «что говорят в семьях, на улице во время прогулки, вообще не “при отправлении служебных обязанностей”» (С. 82), т. е. опять-таки неофициально. Буквально на слуху, делится журналист, – «три мотива»:

«Одних захватывает азарт, как в карточной игре, другие сочувствуют “братьям-славянам”, вызывая в своём воображении турецкие зверства, третьи думают, что от войны опять народу что-нибудь достанется, как после Севастополя или Японии» (С. 82). Однако итоговая мысль перечёркивает бытующую множественность типичных и единичных «мотивов»: «Над всеми этими движениями чувств внутри общества неведомый для всех воздвигается купол какого-то официального здания» (С. 82). И приходится признавать, что воздвигается он без учёта общенародных интересов, вопреки всем чаяниям «общества». А его роль, определяющая внутрисоциальное течение жизни, как раз и равносильна «эпидемии» (С. 82).

Логическим продолжением пришвинских наблюдений и итогов, преподнесённых в художественно-публицистической форме, является статья С. Мстиславского «Чужая война». В ней открыто говорится об обозначившейся «трещине <...> между “политическими кругами” нашего общества и между самим обществом»<sup>22</sup>. Аналитик, стремясь предугадать ответ на вопрос, «быть или не быть “русской войне”»<sup>23</sup>, ищет, как и М. Пришвин, точки соприкосновения нынешней ситуации с подобной предшествовавшей: «Положение, вполне созвучное с тем, которое пережили мы тридцать пять лет тому назад, когда восстание балканских славян послужило прелюдией к нашему Задунайскому походу»<sup>24</sup>. Ответ, как и на соседней странице – в заголовке, и по сути своей идентичен пришвинскому.

Собственно же М. Пришвин вскоре вновь обратится к теме Балканской войны в очерке с неоднозначным заглавием «Наши позиции»<sup>25</sup>. Перед читателем люди, представляющие ту самую «неофициальную Россию» и представляющие собой вполне официальную, а также провинциальную, чьи мнения в частности и в целом на страницах отдела «По градам и весям» уже были отражены. На сей раз речь идёт, во-первых, о том, как «в решительную минуту» думские депутаты уклоняются от высказываний «по славянскому вопросу», от права «выставить свою позицию» (С. 121). Очеркист не расставляет точки над *i*, но читатель наверняка понимает, что эта неопределённость объясняется, по большому счёту, равнодушием к проблемам государственной важности, оборотная сторона чего – своекорыстие.

Во-вторых, живописуется «торжественное заседание рыцарей славянской взаимности», куда, после конфиденциального сообщения о «настоящей цифре болгарских потерь», журналист отправится в надежде на встречу с «уважаемым деятелем»: «он мне что-то подскажет» (С. 121). Но и тот, и другие «почтенные люди, строители с молотками в руках» (С. 121), в напряжённой ситуации ведут себя не по-рыцарски: находят предлоги не присутствовать на заседаниях, смотрят на ораторов «из-за спины» впереди сидящего. Недоумение автора по поводу того, «почему все



эти уважаемые лица не принимают участия в сочувствии, выражаемом здесь славянам» (С. 121), не рассеивается после уклончивой попытки одного из господ ответить на этот злополучный вопрос. Оказывается, большинство «рыцарей» самоустраняется от обсуждения назревших проблем потому, что якобы их точка зрения «ярко, ярче сказать нельзя» обрисовывается кем-то другим: «наши позиции заняты» (С. 121). За кафедрой оратор, «полмира окружая великолепным жестом», картинно приглашает всех в грезящийся ему неохватный славянский рай: «Близко это чудесное время, я созерцаю уже эту золотую эпоху, когда непрерывной лентой от Камчатки до Адриатики будут бежать наши славянские поезда» (С. 121). Надо полагать, такая политически безответственная шовинистическая вольность и есть главенствующая «позиция» общества «славянской взаимности». Именно она увенчивает недавнее муссирование там идеи о правомерности войны.

В-третьих, очерк посвящается ещё одному аспекту актуальной темы, для чего предпринимается поездка в российскую глубинку, где градус восприятия Балканской войны несравнимо ниже. И это влияет на приезжего: если вначале им с удовлетворением отмечается, что «полученный в столице толчок к живому интересу в наступающих грозных событиях мировой жизни продолжает по инерции действовать» (С. 122), то через некоторое время журналистом чувствуется, что «столичная пружина» (С. 122) ослабевает. «Повышенный интерес к войне» представляется ему, попавшему в захолустный «провинциальный город», «нелепостью» (С. 122). Разговор со «знакомым купцом» в этом ещё больше убеждает, поскольку человек с колоритным прозвищем Бисмарк, хотя и «простой, необразованный, но подлинный, дельный» (С. 122). Купцу не понятно волнение, вызываемое газетными известиями о ходе войны. «Да вы-то чего беспокоитесь? <...> Вам-то какой в этом интерес?» (С. 122), – обескураживает он не столько собеседника, сколько читателя.

Слыша в ответ логически предопределяемое: «Война может к нам дойти, немцы ввяжутся, вот вам и пожар, вот и нас коснётся. <...> Завоюют!», – купец реагирует отнюдь не патриотично: «И пусть касается, *нам-то* что? <...> И пусть! Мне-то какое дело? Проснусь – будет немецкий губернатор, что мне, а вам?» (С. 122). Но, как обнаруживается, не пораженческие настроения им владеют и не пренебрежение к отеческим корням. В копилке журналиста уже есть сходный пример: как купцы парировали на негодование «зверствами» турок неприятием не меньшего зла со стороны своих соотечественников.

Автор очерка, изучивший природу таких Бисмарков, принимает по меньшей мере озадачивающие заявления как данность, к которой следует отнестись с уважением: «Самое трудное быть в провинции и сходиться с людьми из-за оправдания этого своего интереса. Здесь нужен

“свой интерес”, находящий понятное оправдание во всей местной жизни. Если же интерес не свой, не здешний, то является подозрение: болтун или прохвост этот человек, живущий чужим интересом. И вот, чтобы сойтись с человеком, нужно непременно в понятной форме оправдать свой интерес» (С. 122).

Пока рассказчик задумывается, «как бы ему выразить идею общего отечества» и исходя из неё объяснить свой выбор в пользу «этого», а не «немецкого» губернатора, он «вдруг почувствовал и вспомнил, что этот купец был свидетелем» грязных махинаций накануне выборов, когда «лишили места, арестовали <...> и увезли куда-то любимого всем городом <...>, на редкость хорошего человека» «исключительно за то, что город наметил его своим выборщиком» (С. 122). Бисмарк, рассказывая «новое и новое о проделках русского губернатора на выборах», «так твёрдо занял свою позицию», что журналисту «и говорить не пришлось» (С. 123). А хотелось «возвратиться к своей позиции, что, как ни плох губернатор, всё-таки не желаю немцам победы над нами» (С. 123). Но автор убеждён, что для таких, как Бисмарк, «идея общего отечества, если она не вытекает из местного отечества, <...> совсем непонятна и даже покажется в этом случае подлостью» (С. 123). И внутренне он с этим максимализмом согласен. Действительно, о каком патриотизме может идти речь, если на просторах великой державы творится беззаконие, подрывается вера в справедливость, если от «местного» до «общего отечества» (С. 123) радеют не об общенародном интересе, а о единоличном праве сильного? Чёткость «позиции» купца проистекает из желания видеть «отечество» таким, чтобы можно было им гордиться и с чувством долга защищать.

Таким образом, Первая Балканская война приковывает внимание М. Пришвина как явление, которое, при всей удалённости от России, вторгается в её жизнь. Отношение соотечественников к войне, губительной для братьев-славян, обзревается из Петербурга и «глухих углов», охватывает различные слои российского общества, что обеспечивает максимальную полноту и объективность освещения острого нравственно-политического вопроса. Разброс мнений, оценок, «позиций», вплоть до взаимоисключающих, фактографически достоверен. Среди наиболее характерных суждений о Балканской войне М. Пришвин удостаивает иронии проправительственные, различая их действительную подоплёку, и славянофильские, утратившие обаяние в общественно-политической ситуации нового времени, а также выделяет здоровый взгляд на состояние дел в стране, препятствующее развитию подлинного, а не официозного патриотизма, и показывает настоящих защитников национальной независимости. Художественно точны и портреты колоритных участников своеобразной заочной дискуссии. Благодаря этому достоверно воссоздаётся внутри-





российская атмосфера, сопутствующая Первой Балканской войне, и тем самым складывается разительная картина обособленности умонастроений и несогласованности устремлений всех частей государственного организма в преддверии Первой мировой войны. Гражданственное начало пришивинского художественно-публицистического документа не позволяет ему устаревать.

### Примечания

- 1 См.: Пришвин М. По градам и весям. I. Штыковой удар. II. В греческом погребке. III. Рыцари без лат. IV. Эпидемия // Заветы. 1912. № 8. Отд. II. С. 73–82.
- 2 См.: Мстиславский С. Своё и чужое (Русская жизнь). VIII. Чужая война // Там же. С. 83–111.
- 3 См.: Вольский Ст. Письма с Балкан. 1. Национальная война или политическая авантюра? 2. Надежды и чаяния победителей. 3. В стане побеждённых // Там же. С. 165–174.
- 4 См.: Василевский Л. (Плохоцкий). Накануне демократизации политического строя в Венгрии // Там же. С. 174–186.
- 5 См.: Пришвин М. По градам и весям. 1. Дежурное блюдо. 2. Наши позиции. 3. Коренная обида. 4. Притча о пьяных медведях // Заветы. 1912. № 9. Отд. II. С. 119–129.
- 6 См.: Вольский Ст. Письмо с Балкан. Письмо второе // Заветы. 1913. Отд. II. С. 165–175.
- 7 Зувев М. История России с древнейших времён до начала XXI века. М., 2002. С. 478.
- 8 История России. XX век : 1894–1939. М., 2009. С. 240.
- 9 Там же. С. 242.
- 10 Там же. С. 240.
- 11 Мясников А. Путеводитель по русской истории : Книга 3. Золотой век Российской империи. М., 2011. С. 434.
- 12 История России. XX век : 1894–1939. С. 291.
- 13 Там же. С. 296.
- 14 Там же. С. 295.
- 15 Данилов А. История России, XX век. М., 2001. С. 61.
- 16 См.: Пришвин М. По градам и весям. I. Штыковой удар // Заветы. 1912. № 8. Отд. II. С. 73–75. Далее цитаты в тексте даются по этому изданию с указанием страниц в скобках.
- 17 «Для меча и штыка, к защите славы святого нам Отечества, и трёх оставшихся у меня пальцев с избытком достаточно», – это слова знаменитого прощального приказа Ивана Никитича Скобелева, героя Отечественной войны 1812 г., продиктованные им после боя, когда ампутировали раздробленную снарядом руку (Цит. по: Капустина В. А. Забытый портрет // III Музейные научные чтения «Мир русской усадьбы» : сб. материалов. Н. Новгород, 2007. С. 198).
- 18 Пришвин М. По градам и весям. I. Штыковой удар. С. 75.
- 19 См.: Пришвин М. По градам и весям. II. В греческом погребке // Заветы. 1912. № 8. Отд. II. С. 75–77. Далее цитаты в тексте даются по этому изданию с указанием страниц в скобках.
- 20 См.: Пришвин М. По градам и весям. III. Рыцари без лат // Там же. С. 77–79. Далее цитируется по этому изданию с указанием страниц в тексте.
- 21 См.: Пришвин М. По градам и весям. IV. Эпидемия // Там же. С. 79–82. Далее цитаты в тексте даются по этому изданию с указанием страниц в скобках.
- 22 Мстиславский С. Указ. соч. С. 83.
- 23 Там же.
- 24 Там же.
- 25 См.: Пришвин М. По градам и весям. 2. Наши позиции // Заветы. 1912. № 9. Отд. II. С. 120–123. Далее цитаты в тексте даются по этому изданию с указанием страниц в скобках.

УДК 821.161.1.02-1+929[Есенин+Шершеневич]

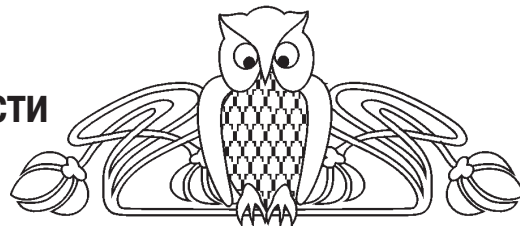
## «ПРАВЫЕ» И «ЛЕВЫЕ» ИМАЖИНИСТЫ: К ИСТОРИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ

С. А. Бубнов

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева  
E-mail: bubnows@yandex.ru

Исследован литературно-критический материал 1919–1927 гг., касающийся восприятия литературной группы «Имажинисты». Критики разных эстетических убеждений в целом не поверили в истинность и глубину переживаний поэтов-имажинистов. Современники критиковали участников группы за эпатаж и стихотворное экспериментаторство.

**Ключевые слова:** литературная группа «Имажинисты», свободное творчество, С. Есенин, В. Шершеневич.



The «Right» and «Left» Imaginists: on a Literary Group Disintegration

S. A. Bubnov

The article presents a research of the literary and critical material of 1919–1927 related to the perception of the literary group «Imaginalists». Critics of different aesthetic views did not believe in the sincerity and depth of the imaginalist poets' emotions. Contemporaries criticized the group members for epatage and experiments in poetry.